

На карантине постоянно хочется есть. Мне, холостому студенту, живущему в коммуналке провинциального города, есть хотелось всегда, но на карантине – с особенной страстью. Кажется, что голодные бессонные часы ночных и дневных занятий ежечасно тянут меня за ноги, доводят до холодильника, и...

За неделю я съел свой провиант. Еще через неделю я исхудал и сделался немощным: мои воротнички и галстуки не способны были затянуться вокруг моей шеи, иссохшей в спичку. Еще через неделю я съел тюль и повешенный сушиться в коридоре соседский ковер. Соседи мои – жадные бабки, не делящиеся едой, которую им мешками приносят службы по защите пожилых. По ночам из их комнат исходят не только зловещие бормотания, вопли свирелей и лошадиное ржание, но и следующие за ними запахи сыра и вареной говядины...

Среди этого мракобесия, голода и голодных галлюцинаций мои нервы выступили на коже, заблестели потом. Я, как русский человек в отчаянном положении, не мог больше не переступить закон. Как-то в полдень, сразу после двухдневного сна, я утонул в желтом свитере, смял сторублевую плешивую бумажку, увяз в складках джинсов и вышел в коридор. Я остановился у двери соседки. Из-под двери лился плотный, тягучий, вязкий, как сырное масло, желтый свет. Я приложил уши:

– П\*\*\*н! Да! Бей их всех! Верно. Нельзя, нельзя выходить. Да. Нефть! Нефть! Нефть!

Сытый гогот старухи лился с запахом свежесрезанных огурчиков и помидоров. Я, будучи не в силах больше терпеть несправедливость, смял кулаки о ребра – иначе их было не сжать – и вышел из квартиры, тихо прикрыв дверь.

Выйдя на улицу, я с очевидной ясностью понял две вещи: я что-то забыл – и сегодня кто-то умрет.

Идя по улице во время карантина, я каждую минуту чувствовал, будто на меня готов упасть кирпич. Немного прибодрился я, только когда увидел людей. Большинство из них ползали в камуфляже меж кустов, таща за собой острые палки и привязанные к ногам пакеты, набитые батонами и консервами. Я не заметил бы их, если бы не наступил на одного. Были еще и те, которых я про себя назвал бродячими трупами: они, не озираясь и не реагируя на окружающую действительность, брели куда-то, в одной руке держа мокрую и замшелую стопочку бумаг – верно, документы, а в другой – кожаную тряпицу – рванный кошелек. Кожа их была серой, они сливались с панельными домами и с весенним небом, кажется, придерживающимся режима самоизоляции; глаза таких были дуплами – они больше походили на березы, чем на людей.

Я не служил в армии и не был так истощен и измучен. Я осторожно, оглядываясь по сторонам в по-

иске тревожных знаков и боясь еще раз наступить на закамуфлированных выживальщиков, перебрался через три двора к пятачку, в центре которого, окруженная километровым дорожным пустырем, как Темная башня, высилась кирпичная коробка «Магнита». Из ее прозрачных дверей в желтом свете витрин были видны овощи и фрукты, банки сгущенки, белобокие бутылки молока, кефира, печенье и торты – голгофа города, к которой паломничали люди в машинах, через шоссе переползали выживальщики. Переползти удавалось не всем.

– Ны-ыкайся-я...

Я поздно услышал сирены. Когда я ступил на тротуар, со всех разъездов ко мне ехали белые джипы с синими полосами, спящие синими маячками. Около двадцати полицейских прыгивали из них на ходу и бежали ко мне.

– Он мой! – пробасил самый пухлый из них, крепко схватив меня желтой перчаткой за рукав.

Остальные полицейские пригорюнились и вымастерились. На головах у полицейских были намотаны кукфии, а глаза закрывали водолазные и солнечные очки – этикие песчаные воины из Безумного Макса.

– Он мой! – огрызнулся схвативший меня, пухлый, будто ужаленный со всех сторон снаружи и изнутри, дядька. По-видимому, главный, самый проворный из них. – Он мо-ой!

Он говорил что-то еще, тряся мое изможденное тело. Никогда я не был так далек от еды, как в тот миг. Подо мной плыла земля, высасывая душу, и мне оставалось лишь смотреть на прозрачные двери, из которых, под торжественный писк пробиваемых продуктов, выходили люди с дюжинами сумок, откуда торчали желтые багеты, зеленые листья салата, красные крышки подсолнечного масла...

– Ну что, шельма, допрыгался? Террорист хренов, выбирай: либо линчуем, либо штраф платишь.

– Ч-чем?

– Провиантом, деньгами, сигаретами, масками... В общем, ходовым хабаром.

– Х-хабаром? Н-нет у меня ничего.

– А куда шел?

Я заметил шевеление травы и кустов по бокам моей спины.

– За х-хлебушком...

– Да-да, а чем платить-то собирался? Или воровать вздумал? Именем карантина я обыскиваю тебя.

Он сунулся в мои карманы. Странно, подумал я: трава двигается... Видимо, кривился мой рассудок, а следом кривил и окружающий мир.

Но... Трава... Она все ближе и ближе подкрадыва-

ла к полицейским, обступившим меня кольцом. И тут меня осенило: откуда она на бордюре?!

– Вот и сотка! Значит, и еще есть, вражина поганая. Ну что, собака дохлая, где живешь? Показывай...

Прокричал свисток, и трава с кустами нырнула в открытые полицейские машины, выбила шоферов, дала по газам. Джипы запыхтели, из окон в перепуганных полицейских полетели заряды самодельных дым-гранат... Я выбежал из тумана, заволокшего перекресток, в котором трещали выстрелы, ревели движки и матерились мужчины. Наводимый во мгле больше желудком и голодом, нежели паникой и самосохранением, я подбежал к «Магниту», сшиб какую-то женщину, снимавшую царивший на улице хаос на айфон, подобрал ее сумку и...

Не помню как, но я оказался в одном из соседских дворов, на детской площадке с замотанными скотчем каруселями, горками и перекладинами. Я сел на лавку, прямо на листок «НЕЛЬЗЯ», уставший и истощенный, как смертный после чистки авгиевых конюшен. Взяв в руки мягкий батон из выбранного пакета, я долго смотрел на него, потрясенный потенциальным чувством сытости, что было заключено в его мякише. Медленно, будто фомкой, я открыл рот, прикоснулся зубами к подгорелой корке, блеснувшей в свете проступившего на небе солнечного луча, облизал горбушку и стиснул до щелчка зубы...

Кусок с грохотом пал в желудок, принявшийся с чмоканьем и хрипом перемалывать пищу. Я радостно оглянулся...

Но было поздно.

Вокруг меня давно стискивалось кольцо березовой роши, дупла деревьев которой загорались плотоядным огнем. Они распорили пакет, выхватили из моих рук батон, затолкали, подмяли меня, выдрали несколько волокон из моего свитера, на который упало несколько крошек... Неподалеку от детской площадки лежали дворники и рядом с ними – брошенные вокруг надпиленного дерева инструменты. Схватив топор, я начал обороняться, срубая березы одну за другой. Но истощение очень скоро дало о себе знать. Надо было собрать остатки сил и бежать.

Две минуты мне потребовалось, чтобы добежать до квартиры. Еще минута – чтобы отпереть и закрыть входную дверь. Три минуты я разглядывал топор, который лежал в руках, как влитой. Его лезвие желтело в электричестве накальной лампы, висевшей на тонком, белом, паутинном проводке под самым потолком. Я подошел к двери одной из бабок. Доносился незнакомый речитативный голос, вероятно, из телевизора.

– Да! Да! Бей их всех! Вперед! Вперед! Вперед!..

Голос сытный, круглый, как ломоть плотного и упругого сыра, сладковатого, как молоко...

– Так их! Проклятые, так их! Во-во, и я про это же, козыри проклятые...

Послышался звук обсыхаемой кости, судя по запаху, куриной. Или говяжьей. Или павлиньей. Или...

Запах чего-то горелого потянулся из-под двери...

– Давай, сладенький мой! Мочи пиндосину!

Я занес над плечом топор, натянул все свои жилы и со свистом опустил лезвие. Со второго раза из двери выломилась щепка со стопу, через которую я поглядел в комнату. Первым, что я заметил, были фрукты, проскальзывающие ясной солнечной кожей бананы и апельсины. Мой голос подчинился голоду:

– Я иду за вами!

Пять раз я тяжело заносил топор и, прогибаясь всем телом, опускал его в расширяющуюся дыру в двери.

– Я иду!

Дым заслонил мне фрукты, проскользнул через щель в мой глаз, я взвыл и, вложив последние силы, одним ударом тупой стороной топора выбил соседскую дверь.

– Горю! Помогите!

Соседки повывагали из своих комнат на крик и грохот, на телевизоре перед бабкой, окутанной горящим пледом, настал триколор, заиграл гимн, поехали танки и замаршировали солдаты. Дым вырывался из электрической плиты, стоявшей позади кресла бабки, заполнил всю комнату. Меня, согнувшегося под тяжестью топора, обогнули бабки-соседки и занялись спасением горящей.

– Сынок, позови народ!

Мне ничего не оставалось, как выйти на лестничную площадку и стучать во все двери. В глазах чернела желтая шпаклевка ободранных стен этажа, расплывались люди. В конце концов я не выдержал и умер...

Очнулся я от того, что мне в рот залезала ложка с теплой и душистой овсянкой – это меня кормили соседки, на лицах которых уже были марлевые маски. Позади них стояли люди – в масках, респираторах, противогазах – и качали головой: бабка все-таки сгорела. Соседка разговаривала с полицейским, тем самым в кифии и очках, пухлым, будто ужаленным во всю кожу.

– Опять Нинка забылась. Как ни заходила к ней – все время, в телевизор уткнувшись, в кресле сидела. В прошлый раз блины забыла на сковороде, а сейчас – в духовке индеечку... Вот и померла по глупости, дура.

– Угу... – Полицейский хрипел, даже через кифию и солнечные очки была видна красная потная кожа: машину у него все-таки отбили.

– Слышу – грохот. Я скорей с подругами из комнаты – и видим: молодой человек стоит с топором, весь изнеможенный студентик, наш сосед. Я-то думала, черная, порочная душа, а во, в последних силах, голодая, вырубил дверь во-он тем топором. Подруги слышали, как он все кричал Нинке: «Иду за вами, иду!» – подбадривал, касатик, спасти хотел, ангелочек...

У нее потекли слезы, а полицейский рисовал на бумаге джип – меня он так и не узнал.

– Я вот что думаю, товарищ участковый, давайте всю еду Нинкину, царство ей небесное, отдадим касатику? Заслужил!

Подруги затрясли головами.

– Угу...

На следующее утро я позавтракал тремя бутербродами, двумя тарелками каши и одним большим бокалом кофе. Электрическую плиту, горелую, с нерабочей духовкой, отдали мне вместе с провизией. И, смотря из окна своей комнатки на пустынную улицу, по которой ползают камуфляжи и бродят серые скитальцы, я хлопаю себя по бедрам и думаю о том, какие еще истории будут рассказаны после карантина, что человек пережил за все это скучное и голодное во многих отношениях время.

